
**ШАЛАМОВСКИЙ
СБОРНИК**

выпуск 1

Вологда
1994



**ШАЛАМОВСКИЙ
СБОРНИК**

1

выпуск

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Рассказы, не вошедшие в сборники	5
Из «Воспоминаний»	17
Письма А. И. Солженицыну	63
О письме в «Литературную газету»	104

ВОСПОМИНАНИЯ О ПИСАТЕЛЕ

И. Сиротинская. Долгие-долгие годы бесед	109
Е. Орехова-Добровольская. «За нами придут корабли»	147
Ф. Сучков. Его показания	153
С. Неклюдов. Третья Москва	162

ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ

Е. Сидоров. Бесстрашные мысли	169
В. Лакшин. Не уставал вспоминать	174
М. Золотоносов. Последствия Шаламова	176
В. Есипов. Традиции русского Сопротивления	183
Е. Шкловский. Жажда совершенной правды	195
Ю. Шрейдер. Искушение адом	203

ШАЛАМОВ НА ЗАПАДЕ

М. Никольсон. Открытие, которого он не знал	211
М. Геллер. Последняя надежда	216
А. Синявский. Срез материала	224
М. Берютти. Крест его судьбы	230
У. Харт. Не верить в сказки	236
Отклики в американской прессе	241
Из истории рода Шаламовых	244

ШАЛАМОВСКИЙ СБОРНИК

Выпуск первый

Художник С. М. Иевлев

Фото и репродукции Д. В. Чесноков

Технический редактор Н. И. Тимонова

Корректор А. Д. Чухина

Сдано в набор 15.02.94. Подписано в печать 10.06.94.

Формат 60x84/16. Печать офсетная. Бумага типографская №2.

Усл. печ. л. 14,4. Уч.-изд. л. 15,38. Тираж 5000. Зак. 1339.

Оригинал-макет подготовлен
в издательстве Вологодского института повышения квалификации
и переподготовки педагогических кадров
160012, г. Вологда, ул. Козленская, 99^а

ПФ «Полиграфист», 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.

Жук тут же выпустил всю свою жидкость: кровь, слону, лимфу — мне под кожу и умер мгновенно, тут же отвалившись в сторону, все на том же блестящем солнце.

Я не выдавливал яда — думал, что организм жука не может справиться с человеческим телом.

За сутки нога моя распухла, болезненно чесалась кожа. Припухлость была твердой, горячей.

Я не следил за раной. Я понимал, что в человеческом теле никаких процессов ускорить нельзя. Я знал по литературе, что должен пройти какой-то срок, в течение которого тело само залечит свои раны. Через пять дней рана моя перестала чесаться.

Но память? Память? Что делать с памятью?

Летом я начал писать письма, в которых пытался вспомнить, что было у меня в жизни. И не обращая на них внимания, приводил эти письма к себе. Но я не мог вспомнить ничего. Ничего! Ни одной мысли, ни одной фразы, ни одной истории, ни одной встречи.

Я спросил Шаламова. Вот мы поставили Шаламову чай, а потом я спросил: «Что ты вспоминаешь в чайне, разложив? Я прошерстя, у тебя есть чайник?» — «Да». — «А что в чайнике?» — «Все вспоминается». — «А что в чайнике?» — «Все вспоминается».

Я спросил: «Скажи, что у Шаламова есть литературный энциклопедический словарь?» — «Да», — сказал Шаламов.

После этого мы сидели с Шаламою другими. Извиняясь с ним, я спрашивал: «Вы фабулируете советскую прашу, а после первого курса тут же разбирались, не изпод яхт ходили лифтами?» — «Да, — говорил Шаламов, — я разбирался спасибо в кирзовском. Никакого мышления тут же не было, и не было никакого яхт и лифта, в то же время, Москву.

ЛУНАЧАРСКИЙ

Я был удивлен и удивлялся, во что об煞иты, как москвичи, и жильцы, жившие трудной иногородской проблемой. Шаламою лучше меня знал разве багреево-красную маркировку куда надо было обращаться за помощью — он тут же был москвичом и успел привыкнуть к неизбежному пределе. Благодаря положению

отелями, где побывали в Наркомате просвещения и Академии наук СССР. Странное было то, что быстрая техническая любовь Ленинградской, обращавшейся в деревенскую,

— сделанное потому что?

— Ты и деревня в руках, а как получится разрешение? Тебе нужно не подпись, а то, чтобы

Секретарши раскрыла кабинет парикма, где за белыми перегородками скрывались кабинки для парикмахеров, когда-то называвшиеся «шапочками». Кабинки были пусты, кроме парикмахера, который привел к нам Шаламова, и ушел.

Публикуемые нами незавершенные воспоминания В. Шаламова, над которыми он работал в 70-е годы, охватывают события его жизни с середины 20-х до середины 50-х годов.

Отдельные наброски с пометкой автора «ММ» («Москва») — это все, что осталось от нереализованного замысла рассказать о Москве двадцатых—тридцатых годов. Ранее Шаламовым были написаны «Двадцатые годы», литературные заметки студента МГУ. Большая же вещь так и не была написана.

«Воспоминания» о Колыме — из последних произведений Шаламова. Еще только несколько рассказов создал он позже, большей частью тоже незавершенных.

Предисловие к «Воспоминаниям» о Колыме было перепечатано на машинке — автор считал этот текст отработанным. Остальное сохранилось в черновиках, написанных неразборчивой скорописью.

Подлинники рукописей хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 48, 51, 77, 80, 82, 84, 85, 87, 89. Студентские дипломы долгое время хранились в архиве, пока, как поговаривали сокурсники, не засекли. На фото, кроме рукописей, изображены: на лбу у

(МОСКВА 20-Х-30-Х ГОДОВ)

Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября. Низкорослый, широкоплечий Троцкий стоял в красноармейской форме, в самом углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны.

Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были вывалены прямо на бульжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые тучи.

все слушатели справились с заданием. Я выбрал какую-то тему из Тургенева — об «Отцах и детях», кажется.

— Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, — сообщила Коган. — Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда без труда.

Этой фразой начались занятия по русскому языку. Полтора часа, два академических занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол пачку исписанных нами листков.

— Ну, — сказала Коган, закуривая «дукат», — она курила беспрерывно. — Как я и ожидала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?

Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе, и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то лобастый школьник протянул руку.

— Позвольте задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы руководствовались в таком различии? Я проверил, у меня все так же, как и у Шаламова, все запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?

Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искусство, литература, — о достижении этого неувидимого [нрзб].

— Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?

— Да, — сказала Коган.

После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факультет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяйствственно-правовое, а я — на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время, Москва.

ЛУНАЧАРСКИЙ

Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую иерархию, куда надо было обращаться за отказом, — он тоже был москвичом и ускорил наше хождение до необходимого предела. Получив положенные

отказы, мы побежали в Наркомат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали кабинет Луначарского, обратились к секретаршу.

— Заявление готово у тебя?

— Да. Вот есть.

— Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!

Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинувшись в мягкое кресло и заложив ногу за ногу сидел Луначарский. Солнечный луч из окна, как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и геометрия луча нарушилась.

— Это не ко мне, — завизжал нарком, — не ко мне, обратитесь к моему заместителю Ходоровскому. Валя!

— У него на лбу не написано, — резонно сказала Валя, — о чем он собирается с вами говорить, товарищ нарком.

Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу — «дать место».

Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда солнечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть ритмы «Освобожденного Дон-Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы мировой революции меня занимали.

Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищ — герои гражданской войны, выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что обычно студенческие депутатации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша, «нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного посетителя.

ШТУРМ НЕБА

Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмую осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того остройшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории,

да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в вузах [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды¹, которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, разночинства, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача — найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОНе² велись споры о будущем, намечались какие-то еще не уверенные, но явно реальные планы мировой революции.

Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвергалось штурму, яростному беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.

Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией.

Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю, и рычаг повертывается на твоих глазах, управляет твою рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги — всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью.

¹ Валленрод Конрад — гроссмейстер Тевтонского ордена в 1391—1393 гг., по легенде — литвин. Орден в это время вел войну с Литвой.

² Ранион — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук.

Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.

Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То, что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно, но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое.

КОНСЕРВАТОРИЯ

Наш институт, наш факультет был впритык с консерваторией, и при желании проникнуть в здание, проскочить сквозь барьер консерватории было [можно]. Но что нам там слушать? Иностранных скрипачей, советских пианистов? Не скрипачей, не пианистов слушали, а, всем телом, всем мозгом, всеми нервами своими напрягаясь, слушали ораторов. Для того, чтобы слышать ораторов, в консерваторию ходить было не надо — все словесные и бессловесные, и не словесные турниры шли у нас же, хотя Коммунистическая, бывшая Богословская, аудитория поменьше была Большого зала консерватории — наиболее крупного тогда кино в Москве. Консерватория так и называлась — кино «Колосс», причем по упрямой московской обмолвке, тому упрямству, которое заставляет произносить «на Москвареке», а не «на Москве реке», Большой зал консерватории назывался «Киноколосс».

В консерватории было то, чего не было в университете, — буфет. Мы все имели талоны в столовую латинского квартала Москвы, но буфет консерватории был подарком. И хоть там, кроме бутербродов со свеклой, тоже ничего не было, а иногда с кетовой икрой, все же деятели искусства как-то подкармливались. Вот этот буфет и был предметом наших постоянных атак. Пускали туда по консерваторским пропускам с фотографиями, и такой свой пропуск нам отдал студент консерватории, бывший житель нашей Черкасски, крошечного, всего на сто коек, университетского общежития.

[УНИВЕРСИТЕТ]

Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечный спор о будущем земного шара — руководимые и направляемые центром тогдашней футурологии РАНИОНом и Комакадемией¹, где тогдашние пророки Преображенский, Бухарин, Радек бросали лучи в будущее. Эти лучи ни тем, которые наводили, ни тем [кто] обслуживал экран, — красным профессорам, немногочисленным, одетым в шинели и куртки того же покроя и фасона, что был у Преображенского, не казались еще ни лучами смерти из «Гиперболоида», ни обжигающими лазерами. Это были лучи мысли во всей ее фантастической реальности. В Московском университете, кипевшем тогда, как РАНИОН, сотрясаемом теми же волнами, дискуссии были особенно остры. Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конвенте.

То же было и в клубах. В клубе «Трехгорки» пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которую дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте. А ты что-то непонятное говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков, и долго объяснял разъясненной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

— Ну, вот, теперь я поняла все, а ты — дурак — ничего объяснить не можешь.

И секретарь ячейки слушал и молчал.

Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме, фабрика Брокара стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура... И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой.

И Штеренберг, и Шагал, и Малевич, и Кандинский создавали новые формы, предъявляли новые свои искания на суд нового времени.

¹ Коммунистическая академия (1918—1923 — Социалистическая академия) просуществовала до 1936 года.

Спорили в университете. Но еще больше спорили в общежитиях — иногда до утра. В общежитиях медиков спорили меньше, много спорили математики. И особенно оба гуманитарных факультета — советского права и этнографический, — куда входили литературное и историческое отделения.

Тут просто разрывали на части. Популярных ораторов еще не было среди молодежи. Но, конечно, кое-какие фамилии уже начали выделяться на этом остром фоне: [Милькан], Володя Смирнов, Арон Коган. Все они кончили ссылкой.

На первом курсе мне удалось написать работу о советском гражданстве, обратившую на себя внимание не только руководителя семинара, но и научной работе я в этой бурлящей, закипающей каше и думать не хотел.² Жизнь моя поделилась на те же две классические части: стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в литературные кружки, занимался [ирзб], вошел в это время в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сельвинского.

Я бывал на занятиях у Брика, диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Михайловичем Третьяковым — фактографистом. И в то же время жил жизнью и общественной в тех формах, которые казались мне тогда приемлемыми. Как и всегда, я служил двум начальникам.

О том, какое начало выбрать, меня не спросили. 19 февраля 1929 года я был арестован и вернулся в Москву лишь в 1932 году.

Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве, никто никогда больше не встретился друг с другом.

Это были мои университетские товарищи, мои сверстники. На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубахе с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура браунинга, оратор весьма популярный на университетских трибунах, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которыми она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловолосой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила.

Вечеринка кончилась, я вернулся к себе в общежитие.

19 февраля я был арестован в засаде в одной из подпольных типографий Москвы.¹

Все мы были рады, что глупая петиционная кампания² кончилась, и смело смотрели вперед, не ожидая ни масштабов, ни мстительности ответного удара.

МОСКВА 30-Х ГОДОВ

Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие нэпа — было ли это? Пузыри или вода целебного течения — все равно — исчезло.

Подполье 20-х годов, столь яркое, забилось в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства.

Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, орсы³ при заводах, мрачные улицы, магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел: пустые полки, но в углу какая-то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали, о чем-то спорили: «мыло для всех».

На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермии и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. Парти максимум — но закрытые распределители.

Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. 21-й год — это был голод в Поволжье, 33-й был голодом Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках — протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин.

Директор шахты подмосковного угольного бассейна распорядился кормить в горняцких столовых, только если руки и одежда запачканы углем, угольной пылью. За углом два беженца спешно превращались в негров, в шахтеров, чтобы проскочить контроль — человека с пистолетом.

¹ Шаламов распространял отпечатанное подпольно «завещание» В. И. Ленина — «Письмо к съезду». Был осужден как «социально опасный элемент» на 3 года лагерей. Срок отбывал в Вишере, на Северном Урале.

² «Петиционной кампанией» Шаламов называет неоднократные выступления оппозиции с внутрипартийными заявлениями и платформами.

Шесть условий товарища Сталина, «Догнать и перегнать», «Время, вперед» — один из самых бессовестных [лозунгов] тех лет. Беломорканал, канал Москва — Волга, коллективизация, аресты в деревне. Все это описано трижды и четырежды, как все это отражалось в семье русского интеллигента.

Все оказалось не так хорошо и не так просто. После свидания с некоторыми из моих друзей и очевидной размолвки я стал искать пути в одиночку. Я вновь вернулся, как в университетское время, к постоянному чтению в библиотеках. Квартиру быстро снял вместе с журналистом Шумским в Коробейниковом переулке на Остоженке. Хозяин квартиры слесарь Анисимов сдавал одну из комнат. Семья большая, три дочери, хозяева пили — [картина] знакомая, — и пили частенько, пили и пели. Все это тоже, в общем, было терпимо, переносимо. Не каждый день они пили. Но явилось очень интересное обстоятельство.

Хозяин любил рассказывать о своем участии в революционной деятельности, в революционном движении. Последняя его работа — должность в Музее революции.

— Выхожу я, беру с собой пистолет. Валька уже отворачивает ломом щеколду. И — экс! А они теперь в музее не хотят утвердить мой стаж политкаторжанина, хотя я был на каторге, на Колесухе. Экс, говорят, не революция. Сейчас собираю свидетелей. Угощаю тут старичков полезных. Ты не думай, меня все знают, меня и Ленин знает. Я был у него, докладывал о всех годах. Правильно, Ленин говорит, правильно действуешь, товарищ Анисимов. Подходит и целует меня в макушку. Не веришь? А то меня еще Троцкий целовал. Тот — в руку. Рассказать?

Вот такого рода был наш хозяин. Уголовник, освобожденный революцией, который все никак не мог пробиться в политкаторжане.

К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путешествия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я, бывший муж сестры, с которым она развелась и уехала в Сухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами, сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.

Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в центральный уголовный розыск. Я взял все документы — профбилет, удостоверение с места работы, прописку,

(выходит несколько сборников), и рассказы, отвергаемые советскими издательствами.

И судьба наносит писателю, быть может, самый страшный удар. «Колымские рассказы», попав на Запад, не выходят книгой, а печатаются на протяжении многих лет, по одному-два, вразброс, бессистемно, нередко «исправленные». Как если бы картина Рембрандта, обнаруженная на чердаке, была разрезана на мелкие куски, а потом демонстрировалась как куча обрезков. Возможно и по отдельным кускам — вот глаз, вот рука — удалось бы понять, что перед нами великое произведение искусства. Но картины — не было бы...

«Колымские рассказы» — прежде всего свидетельство. В. Шаламов — свидетель привилегированный. Он видел рождение лагерной империи, отбывая первый срок в 4-м отделении СЛОНа — Соловецких лагерей особого назначения, в Вишерском лагере, где на строительстве первенцев советской индустрии, на первых стройках коммунизма, «проводился первый опыт новой лагерной системы», «великий эксперимент растления человеческих душ, распространенный потом на всю страну» (*«Визит Мистера Поппа»*). И он провел почти 17 лет на полюсе лютости — на Колыме. «Лагерный опыт Шаламова, — пишет А. Солженицын, — был горше и дольше моего, и я с уважением признаю, что именно ему, а не мне досталось коснуться того дна озверения и отчаяния, к которому тянула нас весь лагерный быт».

«Колымские рассказы» — не только свидетельство. О Колыме рассказано немало. А. Солженицын отмечает в *«Архипелаге ГУЛАГ»*: «Я почти исключаю Колыму из охвата этой книги... Да Колыме и «повезло»: Там выжил Варлам Шаламов и уже написал много; там выжила Евгения Гинзбург, О. Слиозберг, Н. Суровцева, Н. Гранкина и другие — и все написали мемуары». Из этих мемуаров опубликован только *«Кругой маршрут»* Евгении Гинзбург. Много места удалено Колыме в воспоминаниях Екатерины Олицкой. О Колыме писали иностранцы, счастливо выбравшиеся с Крайнего Севера. В 1950 г. в Лондоне вышли мемуары поляка Анатолия Краковецкого *«Книга о Колыме»*, а в Цюрихе — воспоминания немки Элинор Липпер *«Одиннадцать лет в советских тюрьмах и лагерях»*, через несколько лет в Оттаве появилась книга румына Мишеля Соломона *«Магадан»*.

Свидетельств о Колыме было немало. Но Варлам Шаламов не писал мемуаров. Его книга — это «отражение виденного в вогнутом зеркале подземного мира. Сюжет невообразим и все же реален, существует взаправду, живет рядом с нами» (*«Боль»*).

МИХАИЛ ГЕЛЛЕР

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА

Я вроде тех окаменелостей,
Что появляются случайно,
Чтобы доставить миру в целости
Геологическую тайну.

Варлам Шаламов

Трагическая судьба русских писателей не удивляет уже давно. Она как бы стала их предназначением. Но даже в русской литературе трудно найти судьбу страшнее.

Варлам Шаламов, 22-летний студент МГУ, был впервые арестован в 1929 г. и впервые осужден — на 5 лет. Молодой писатель В. Шаламов, полностью отбыв первый срок, был в 1937 г. арестован вторично, «незаконно репрессирован», как деликатно констатирует *«Краткая литературная энциклопедия»*. Снова — 5 лет. Если вспомнить время второго ареста, срок этот значит, что следователь даже не потрудился выдумать обвинение. В 1942 г. заключение продлевается «до конца войны», а в 1943 г. сочиняется новое «дело»: за утверждение, что Бунин — классик русской литературы — Шаламов приговаривается к 10 годам лагеря. За «антисоветскую агитацию».

Конец срока совпадает со смертью Сталина. Но еще несколько лет Варлам Шаламов будет биться за право выезда с Колымы на «материк». Возвращение в Москву 50-летнего писателя, почти половину жизни проведшего в лагерях, приносит не только радость. Семейные узы не выдерживают многолетней разлуки. В. Шаламов остается один. Он пишет стихи, которые изредка публикуются

Предисловие к книге: В. Шаламов *«Колымские рассказы»*. Париж, ИМКА-Пресс, 1985.

дань признательности своим идеяным оппонентам — участникам освободительной борьбы¹.

В любом случае ориентация Шаламова на сохранение связей с революционными традициями в России — а не на «веховский» разрыв с ними (пронесенная с молодости до конца дней) — чрезвычайно знаменательна. Это один из краеугольных камней его мировоззрения. На его примере мы видим, сколь естествен и ограничен для мыслящей молодежи тех лет путь приобщения к этим традициям. И нет никакого парадокса в том, что именно через увлечение эсерами и народовольцами Шаламов — подобно многим своим сверстникам — пришел к осознанию исторической неизбежности перемен, принесенных Октябрем, — перемен жестоких, удручающих для него самого и его семьи, но все-таки много обещавших в будущем. Но здесь же был и исток его обостренных отношений с новой властью — отношений, приведших к первому аресту в 1929 году.

В воспоминаниях Шаламова о 20-х годах есть одна примечательная фраза: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни». Печальная ирония этой мысли, наверное, лучше всего передает противоречия, одолевавшие его — да и его ли одного! — тогда. С одной стороны, став студентом Московского университета, он не мог не видеть действительных благодеяний, которые принес нэп. («Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год», (т. е. Февраль — В. Е.), — это свидетельство Шаламова-очевидца о 1924 году² имеет особую цену). С другой — он ощущал, что «штурм неба» — коммунистический утопизм, становившийся все более воинственным и догматическим — таит в себе зачаток новых катаклизмов и преступлений. Шаламов отмечает, что таких, как он, «опоздавших к штурму неба», в тогдашней Москве было немало. И вполне закономерно, что именно из них, его сверстников-студентов, не затронутых ожесточением гражданской войны, воспринявших революцию в духе старых «заветов» русской интеллигенции — как условие гуманистического обновления жизни — составилось вскоре новое Сопротивление в русской революции...

«Активно участвовал в событиях 1927, 1928, 1929 годов на стороне оппозиции». За этой строкой «Краткого жизнеописания»

¹ Ср. отзыв П. Струве о Феврале: «Историческое чудо, которое прожгло, очистило и просветило нас самих». (Цит. по: Знаменский О. Интеллигенция на ханзуне Великого Октября. — М.: Наука. 1988, с. 101).

Шаламова — целый пласт его биографии, к сожалению, пока не исследованный. Мы знаем только, что в феврале 1929 г., в возрасте 21 года, он был арестован ОГПУ за распространение «Завещания» Ленина («Письмо к съезду») и арест произошел в подпольной типографии МГУ. Даже этих кратких деталей достаточно, чтобы понять, что это было по существу воплощение старой революционной практики в новых (советских) условиях. Причем, как представляется, дело не исчерпывалось изготовлением листовок со скрытым от народа и запрещенным текстом Ленина. Весьма многозначительна шаламовская характеристика своих друзей-оппозиционеров: «Те, кто пытался самыми первыми, самоотверженно отдав жизнь (выделено нами — В. Е.), сдержать тот кровавый потоп, который вошел в историю под названием культа Сталина». И еще: «Оппозиционеры — единственные в России люди, которые пытались сопротивление этому носорогу...»

Есть основание полагать, что при столь откровенной ненависти к Сталину, восприятии его как нового деспота-самодержца среди молодых оппозиционеров заходила речь и о радикальном способе «решения вопроса» в духе «Народной воли». Недаром Шаламов пишет о готовности «отдать жизнь». И недаром, оказавшись после ареста в Бутырской тюрьме, он открыто восхищается тем методом, о котором рассказывает старый политкаторжанин эсер Андреев: «Раз — квас!» (рассказ «Лучшая похвала»)¹.

Как бы то ни было, молодой Шаламов оказался на самом острие общественной борьбы 20-х годов, и это глубоко символично. Иной путь, при его взглядах, труднопредставим. Это был смелый и благородный порыв. Поздняя самооценка — «конечно, я был слепым щенком тогда» — тут мало что меняет. Объективно рассматривая ситуацию тех лет, нельзя не признать, что шансы противников Сталина были весьма невелики. Но тем не менее они существовали — даже в рамках внутрипартийной оппозиции. Формально никак не связанный с большевистской партией (даже не комсомолец), дале-

¹ Такие настроения были распространены в разных слоях оппозиции. О своей готовности стать «советским Брутом» заявлял, например, в том же 1929 г. слушатель Коммунистической академии(!) И. Сорокин (см. Авторханов А., Технология власти — «Вопросы истории» №№ 9-10, 1991, с. 93). Сталинская боязнь покушения имела серьезную почву. Напомним, что свой запрет на разработку темы народничества в 30-е годы «вождь народов» мотивировал следующим образом: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей, то воспитаем террористов»... («История и историки». — М.: Наука, 1965, с. 257).

кий от политической «кухни», Шаламов был волонтером, «вольным стрелком» в этой борьбе. Но на деле он выступал союзником всех здоровых сил в ВКП(б), преодолевших болезнь левизны и учившихся — на ходу! — отделять реальное от утопии в коммунистической доктрине¹.

Пример Шаламова лишний раз подтверждает силу антисталинского вектора общественного сознания 20-х годов. Выражая чаяния нового поколения русской интеллигенции, он в то же время олицетворял — по большому счету — чаяния всего народа, по крайней мере, его основной массы: «Никто и никогда не считал, что Сталин и советская власть — одно и то же» («Вишерский антироман»)...

Сторонники теории «непрерывности», т. е. отождествления большевизма и сталинизма, найдут в лице Шаламова весьма крепкий орешек. Его симпатии к 20-м годам, при понимании их противоречивости, — устойчивы и неизменны.²

Его уклонение от однозначных оценок Ленина свидетельствует о известном целомудрии, которое свойственно опять же людям 20-х годов. Тот факт, что Шаламов участвовал в распространении «Завещания», конечно, не следует относить к безраздельной апологии Ленина. Однако, социальная тенденция позднего Ленина, реализованная в изпе, в «свободе», хотя и относительной, — была ему близка и в молодости, и на склоне лет. Необходимо помнить, что это взгляд человека, собственной кожей испытавшего жестокий контраст двух миров — середины 20-х годов и 1937 года. Еще более важно помнить, что Шаламов выступал от имени миллионов расстрелянных и замученных при Сталине — миллионов, составлявших цвет обновленной России и гарант ее возможного здорового саморазвития...

Живая причастность к борьбе против Сталина сыграла огромную роль в его жизни. Она дала ему право на самоуважение — на

¹ По казуистической логике следствия ОГПУ Шаламов был отнесен к «троцкистам». Сам он подчеркивал, что «к Троцкому большинство оппозиционеров относились без большой симпатии» («Краткое жизнеописание»). Объективно Шаламов стоял ближе к «правой» (бухаринской) оппозиции.

² Судя по воспоминаниям Р. Орловой и Л. Копелева, Шаламов после лагеря в личных встречах тепло отзывался о 20-х годах — «преображался, становился добрым, доверчивым, веселым, рассказывая о вечерах Маяковского и других поэтов». Однако, вывод авторов о «расколотом» сознании писателя («светлый мир 20-х годов и беспросветный ужас колымской катоги в его творчестве не были ничем связаны»), — слишком произволен. См.: Орлова Р., Копелев А., Мы жили в Москве. 1956—1980. — М.: Книга, 1990, с. 58, 64.

то, чтобы считать себя продолжателем традиций революционеров прошлого. (Он сделал все, что мог в обстоятельствах своего времени!). Она закалила его нравственно и скрепила основы мировоззрения. Она, наконец, дала ему впоследствии неоспоримое моральное право — как писателю — сурово судить систему, порожденную Сталиным и оставившую невытравимые метастазы в обществе, с которым Шаламов столкнулся по возвращении с Колымы.

* * *

Шаламов всегда делил свою жизнь на две «классические», по его словам, части — занятие литературой, искусством и участие в «общественных сражениях». Казалось бы, в послелагерный период вторая часть целиком вытесняется первой: «Мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь — стихи и рассказы» (автобиография «Несколько моих жизней»). Но литературная работа для него не могла не быть сражением. Это было высокое духовное Сопротивление — сопротивление времени, лжи и насилию, равнодушию и беспамятству, литературной рутине.

Шаламов называл свои «Колымские рассказы» «пощечинами сталинизму». Но это указывает лишь на ближние, жгучие эмоциональные цели его работы. Сверхзадача рассказов — не только и не столько обличение. Глубже всего писателя волнуют проблемы онтологического зла, разлитого в человеческом обществе и в самых обнаженных формах проявившегося в лагерном бытии («лагерь мироподобен»; «лагерная тема в широком ее толковании — основной, главный вопрос наших дней»). Он ищет ответы на самый мучительный вопрос XX века — «как могли люди, воспитанные поколениями на гуманистической литературе, прийти при первом же успехе к Освенциму, к Колыме...»

Восстановливая сегодня картину общественного сознания в послесталинский период (от «оттепели» к «застою»), трудно не восхищаться мужеством Шаламова, его стоицизмом художника. Нравственная позиция писателя безупречна — заявив еще в 1956 г. (в письме Б. Л. Пастернаку): «Вопрос печататься — не печататься для меня вопрос важный, но не первостепенный» — он не идет ни на какие компромиссы с совестью, отвергая приспособление к цензуре и предпочитая писать «в стол». Во всем этом отчетливо видна верность юношеским клятвам и правилам, выработанным в лагере (одно из них — «я не должен искать ничего помочь», другое — «я не должен ничего и никого бояться»). Новые испытания он

художника. По злополучной традиции многие русские писатели имеют трагическую участь... Сам Шаламов глубоко чувствовал свое родство со всеми, кто ушел раньше него и кто, как и он, был обречен на страдания. В одном из писем Солженицыну у него есть важная мысль: «Жизнь Пушкина, Блока, Цветаевой, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама неизмеримо дороже, чем жизнь любого конструктора любого космического корабля. Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию». Трагизм и героизм — два компонента судьбы русских писателей. Их путь — путь завоевания новых высот в литературе, в познании человека — уже сам по себе жесток, но они выбирали и выбирают еще более трудный путь — единоборство с властью. Шаламов здесь упоминает имя Лермонтова после Цветаевой и до Пастернака — это значит, что условия жизни, творчества и... смерти русского писателя если и изменились за сто лет, то — только к худшему. В железный двадцатый век писатели в России — как «щепки», уносимые «бурным, почти бешеным потоком истории» (по выражению Надежды Мандельштам)¹. Испытывая великие трудности, они все-таки не поддавались страху и отчаянию и становились героями.

В предисловии к «Вишерскому антироману» Олег Волков с глубоким состраданием пишет о Шаламове: «Судьба была до конца сурова к человеку, рожденному под злополучной звездой». Эта злополучная звезда — время, в которое ему пришлось жить. В течение своего земного срока Шаламов, как он сам писал, познал «несколько жизней», или «сто жизней», прожитых «сполна», и только писательское слово помогло собрать раздробленные части жизни в единую судьбу, как типограф набирает литеры для составления текста:

Жизни, прожитой не так,
Все обрезки и осколки
Я хибаю на верстак,
Собирая с книжной полки.

Наверное, единственная в жизни Шаламова пора, когда не все складывалось «злополучно», — детство. В автобиографической книге он называет Вологду «свободолюбивым городом». В вологодском воздухе начала двадцатого века — исток его судьбы. Живой обмен мыслями, диспуты о историческом пути России, устремленность к действию — все это было свойственно элите, изгнанной сюда из

¹ Н. Мандельштам. Вторая книга. Париж, ИМКА-Пресс, 1980, с. 187.

столиц. От этих семян восприимчивый мальчик получил плоды: «Герои моих детских и юношеских книг — все — русские революционеры»; «моя оппозиция, мое сопротивление уходит корнями в самое раннее детство».

Поразительно признание Шаламова о своем первом аресте: «19 февраля 1929 года я был арестован. Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни...» Дальше он говорит о своей «так удачно начатой жизни». И еще: «Я надеялся, что и дальше судьба моя будет так благосклонна, что тюремный опыт не пропадет» (очерк «Бутырская тюрьма. 1929 год»). Нетрудно убедиться, что Шаламов был психологически и нравственно подготовлен к такому повороту судьбы — более того, он жаждал его. При таких заявлениях мы, пожалуй, не вправе считать первый лагерный срок Шаламова «злополучным». Это была закалка, которую он считал для себя необходимой. Он был уверен, что «душевных сил моих хватит на большие дела».

По возвращении в Москву в 1932 году он, по собственному признанию, «крепко стоял на всех четырех лапах». Здесь имеется в виду литературное самоопределение Шаламова. Он много писал и «научился отличать свое и чужое». Писал на разные темы, в разных формах, но... не о Вишере. Только позже, после Колымы, в его рассказах входит вишерский опыт. Тут можно задать вопрос: кем бы стал Шаламов, останься он на свободе после 1937 года? Трудно представить его в роли молодого преуспевающего писателя. Его бескомпромиссные взгляды рано или поздно дали бы себя знать. Во всяком случае с участью послушного подданного Сталина он ни за что не примирился бы. Его «полярная судьба» — как он называет свой колымский срок — была предопределена...

Теперь, по прошествии лет, можно утверждать, что Колыма была по силам Шаламову. Лагерь оказался исключительной лабораторией, где испытывалась моральная выносливость человеческой натуры. Шаламов ее прошел с достоинством. Но мы знаем из «Колымских рассказов», сколько раз его спасало чудо — случайные встречи и события. Все это заставляет снова задуматься над загадкой человеческой судьбы, над парадоксальной формулировкой Шаламова: «Судьба, которая зависит от цепи случайностей, а чаще все от случайностей не зависит» (рассказ «Первый чекист»).

Большинство тех, кто находился в лагере, жили с тяжким ощущением обреченности и подвластности слепому случаю. Когда невиновный человек подвергается всяческим мукам, он начинает верить в действие каких-то сверхестественных сил, в рок, в фатум,